



ОТНОШЕНИЕ К НИЩИМ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ

Аннотация. Автор рассматривает социальную категорию нищих в религиозном контексте, а также в свете конкретной русской этнической традиции. В последнем случае нищие были близки группе «странников», богомольцев, которые посвятили свою жизнь паломничеству по святым местам. Между тем уже в начале XX в. немалое число нищих были просто бедняками, не имеющими дома и заработка. В советское время с нищенством начинают целенаправленно бороться, как с социально вредным явлением. Но при этом советская власть своими масштабными проектами - индустриализацией и особенно коллективизацией, борьбой с враждебными классами, порождала миллионы нищих. Она боролась с ними, как с врагами народа. Еще одна большая волна нищих появилась после Великой Отечественной войны, но и эти нищие не нашли должного сочувствия у власти. В целом, отношение к нищим в советское время можно охарактеризовать как репрессивное, вне традиции, вне религиозных норм, что служит обличением власти.

Ключевые слова: нищие, паломники, православная традиция, бродяги, попрошайки, враги народа, антигуманные практики.

Abstract. The author considers the social category of the poor in a religious context, as well as in the light of a specific Russian ethnic tradition. In the latter case, the poor were close to the category of "wanderers," pilgrims who dedicated their lives to pilgrimage to holy places. Meanwhile, at the beginning of the XX century, a considerable number of beggars were simply poor people who did not have a home or income. In Soviet times, the authorities began to struggle with poverty in a deliberate way, as with a socially harmful phenomenon. But at the same time, the Soviet government with its large-scale projects - industrialization and especially collectivization, the struggle against hostile classes - generated millions of beggars. It fought with them, as with the enemies of the people. Another big wave of beggars appeared after World War II, but these beggars did not meet the proper sympathy of the government. In general, the attitude towards the poor in Soviet times can be described as repressive, outside of tradition, outside of religious norms, which serves as a denunciation of power.

Keywords: beggars, pilgrims, Orthodox tradition, tramps, beggars, enemies of the people, inhumane practices.

Шляхтина Наталья Валерьевна (Shlyakhtina Natalya Valerevna) - младший научный сотрудник ИЭА РАН, секретарь научного православного журнала «Традиции и современность» /natalja.25.256@mail.ru

Научный православный журнал «Традиции и современность». 2020. № 24. С. 40-62.

ISSN 2687-1122 || <http://naukapravoroslavie.ru>

Статья публикуется в соответствии с планом научно-исследовательской работы
Института этнологии и антропологии РАН

УДК — 39.394.014

ББК — 87.7

Отношение к нищим до революции 1917 г.

Нищий – почти фольклорный персонаж в русской традиции, поэтому спектр традиционного отношения к нему самый широкий – от трагически сочувственного и умильного, до насмешливого и даже недоброжелательного. А это указывает на весьма разнообразный спектр источников-авторитетов, на базе которых сложилось и выросло такое отношение. На трагическом полюсе безусловным авторитетом является Евангелие и Псалтирь, что в совокупности соответствует церковной точке зрения на нищенство. Ироничный полюс появился, думается, тоже из церковного (евангельского) источника, но был взят оттуда и приспособлен под некие «повседневные нужды», «жизнь какова она есть», то есть лишен спокойного осторожного церковно-критического взгляда, но разбавлен стихией самого разного неблагоприятного отношения к нищей братии. В евангельском же тексте критический взгляд на нищих обозначен очень осторожно, совсем не предполагая народной фантазии и критицизма. Как нам кажется, народ по-своему воспринял следующие евангельские тексты о нищих: «Нищих всегда имеете с собою и когда хотите можете им благотворить, а Меня не всегда имеете» (Мк, 14, 7). Возможно, на критическое отношение к нищим повлиял и другой евангельский отрывок, где Спаситель обращается к богатому юноше, желающему спастись, и как последнее средство, необходимое для спасения, советует ему раздать все свое имение нищим, взять крест и следовать за Ним (Мк. 10, 17-22). Юноша с печалью в сердце отходит от Христа, не имея сил выполнить Его совет, и, возможно, что дело здесь было не просто в отказе от всего богатства («а имение его было много»), а в передаче его нищим. Может быть, он был более всего смущен непонятной формой передачи своего богатства. Нищие, которых, судя по притче о богатом и Лазаре, не особо жаловали богатые и в целом в восточном обществе, вдруг начинают претендовать на такой лакомый кусок, который делает их людьми зажиточными. И эта перемена мест нищего и богатого юноши особенно, очевидно, не устраивает последнего. Народный пытливый ум улавливает это колебание юноши и, скорее всего, встает на его сторону. Люди видят в нищем помеху благочестивому порыву юноши, ведь если бы деньги можно было направить на ремонт храма или что-то иное, похожее, то, возможно, и у юноши не было бы вопросов и препятствий на его пути. Христос словно специально так ставит вопрос,

в самой крайней степени его обнаженности, чтобы юноша, как и женщина сиропфиникиянка, просящая Христа об исцелении одержимой дочери, не могли по человеческой природе, учитывая условности мира, выполнить эти условия. Женщине Христос говорит о том, что нельзя же отнять хлеб у детей, а отдать псам; т.е. Он нарочито называет евреев «детьми», а ее племя псами, обозначая некую реальную, народную форму отношений, которая тогда существовала. И женщина смиренно, ради больной дочери, принимает этот жесткий вариант почти враждебного отношения двух народов и тем самым являет свою веру в то, что это все пустые условности, а подлинность состоит в том, что дочь страшно больна и спасти ее может только Христос, представитель того самого народа, который считает ее народ собаками. Подобного разрешения коллизии не произошло в ситуации с юношей, и народ здесь, очевидно, увидел в качестве главного препятствия нищих и задумался о них со всей серьезностью. А помня о других словах Спасителя о нищих (указанных выше), где последние опять становятся на пути благого дела, теперь уже связанного с Самим Христом, люди, конечно, не могли не вывести некоего важного – общего – суждения, позволяющего не только сострадать нищим в их нуждах, но быть готовыми высмеять, осудить их и дать нелестную оценку. Такой двухполюсный народный взгляд на нищенство и можно считать традиционным.

Причем, двухполюсное отношение к нищим порождало и другое явление – нищих разных типов; с одной стороны – людей, полных собственного достоинства и смирения, аскетически, по-церковному, несущих свой крест нищенства, с другой стороны – хитрецов и «профессионалов», превративших нищенство в доходную статью, использующих любую возможность правдами и неправдами не только добыть кусок хлеба, но и нередко – сверх того. Нельзя сказать, что эти две категории нищих были разделены четкой гранью и люди видели тех и других в их реальном обличье, скорее предполагалось, что «плохие нищие» существуют, но к каковым относятся данные конкретные просители, сказать трудно. Кого-то (из числа благочестивых), конечно, было видно и по поведению, а других не всегда удавалось разглядеть. Тем более, что нищенская доля, в целом, в дореволюционной России все-таки не предполагала обогащения, накопления денег, это был лишь – при негативной ситуации – уход от крестьянского труда, от труда как

такового, в сторону жизни на подаяние. Праздность – вот что было здесь определяющим для тех нищих, которые имели «вид благочестия», а таковыми не были.

Между тем русская деревня в силу ее мало-земелья и невысоких урожаев, порой недорода, нередко ставила перед простонародьем проблему элементарного физического выживания, в какой-то отдельный, временной, момент его существования. И тогда людям на короткое время приходилось идти по миру «собирать кусочки» в ближайшей округе, чтобы дотянуть до весны, первой зелени и растительности. А.Н. Энгельгардт уже в «Первом письме» своего знаменитого эпистолярного аграрного дневника 1880-х годов обращается к этой теме. Он пишет, что это обычная практика, как для господ, так и для крестьян, имеющих некий запас хлеба и могущих поделиться «кусочком» с теми, кто в этом нуждается. Вот его отчет по кусочникам. «В нашей губернии, и в урожайные годы, у редкого крестьянина хватает своего хлеба до нови; почти каждому приходится прикупать хлеб, а кому купить не на что, те посылают детей, стариков, старух в “кусочки” побираться по миру... В конце декабря ежедневно пар до тридцати проходило побирающихся кусочками: идут и идут, дети, бабы, старики, даже здоровые ребята и молодухи... Совестно молодому парню или девке, а делать нечего, – надевает суму и идет в мир побираться» [1, с. 20]. Помещик обращает внимание на тот факт, что крестьяне, которые поначалу сами подают, порой, оставшись в тот же год без хлеба, вынуждены также нищенствовать: «В нынешнем году пошли в кусочки не только бабы, старики, старухи, молодые парни и девки, но и многие хозяева. Есть нечего дома, – понимаете ли вы это? Сегодня съели последнюю ковригу, от которой вчера подавали кусочки побирающимся, съели и пошли в мир. Хлеба нет, работы нет, каждый и рад бы работать, просто из-за хлеба работать, рад бы, да нет работы» [2, с. 21]. Мотивом подачи милостыни в виде кусочков хлеба – мотивом единым для крестьян и помещиков, – как объясняет Н.А. Энгельгардт, является человеческое милосердие, подают Христа ради; и в этом контексте неподача милостыни – уже не просто жестокость или черствость, а грех [3, с.24], убийственная и понятная для всех оценка.

Нет смысла, наверное, перечислять категории нищих, говорить, насколько эта фигура была привычной для крестьянской дореволюционной Руси, насколько она была тесно связана со странничеством, почти религиозной

формой жизненного целеполагания, ведь за ней стоял евангельский и апостольский образ Иисуса Христа, Его апостолов. Для нашего исследования более важной является задача обозначить социально-ценностные характеристики этой социальной категории в глазах имперского государства и современного ему общества. Для государства нищие были, прежде всего, количественно большой социально неблагополучной группой граждан, которая оказалась в поле зрения имперской власти с момента создания империи. Уже при Петре I было четко заявлено, что государство больше не намерено видеть в нищих некую священную «библейскую» категорию, которая чуть ли не охраняется государством. Во всяком случае нищим было разрешено, и особенно в городах и даже столице, сколь угодно массовое присутствие, традиционно ограниченное околохрамовой территорией. Город же в то время был наполнен не только обилием храмов, но и часовен, а также поклонных крестов на перекрестках, где также нередко находились нищие среди полунищих священников, не имеющих места. Тогда же государство обозначило свою позицию, которая заключалась в помещении людей, не имеющих возможности себя прокормить, в специальные богоугодные заведения, поначалу при монастырях, а потом в светские, государственные и частные. Тогда же начала проводиться сегрегационная деятельность по отделению добрых нищих от лиц, притворяющихся таковыми. Критерий был один: если человек способен трудиться, физические силы ему позволяют, значит – это ложный нищий, значит, надо отправлять его на принудительные работы, если он сам не хочет трудиться. Больных, бездомных стариков, калек, инвалидов – из категории настоящих нищих, надо отправлять в богоугодные заведения. Казалось бы, задача была поставлена и началось ее выполнение, но как показали последующие события, на практике выполнение ее оказалось затруднительным. Не хватало средств на создание богоугодных заведений, частный капитал активно включился в эту деятельность лишь во второй половине XIX в., до этого львиная доля забот по призрению нищих в специальных учреждениях лежала на государственных учреждениях, которых катастрофически не хватало, и на церковных, главным образом монастырских (при женских монастырях), активно развивающихся с 1860-х годов. Но в целом проблема не решалась по двум причинам: во-первых, из-за недостаточного количества таких заведений и более быстрого

роста нищих (вплоть до 1917 г.); во-вторых, по причине пребывания основной массы нищих в сельском сегменте России, где нищие привычно (для себя и крестьянства) могли существовать на огромном пространстве страны, передвигаясь порой на немалые расстояния по ее сельским дорогам, и жить если не «безбедно», то во всяком случае стабильно и не умирая от голода.

И все же государство ставило проблему нищенства как важную социальную проблему, оно обязывало заниматься этим вопросом отдельные губернии и губернаторов, собирало статистические данные, искало средства и возможности для сокращения нищих в стране, словом, проводило целевую, «гуманную» политику по борьбе с нищенством. И решения, касающиеся локализации нищенства, были целиком в русле тех постоянных перемен в стране, которые начались в пореформенный период. Важным здесь было то, что государство не отрицало факта существования этой проблемы для страны; как и саму возможность победить это зло в короткий исторический отрезок или даже сразу наскоком. В самом явлении имперское государство постепенно переставало видеть только экономическую и культурную (цивилизационную) проблему России; власть стала возвращаться к традиционному – религиозному – взгляду на нищенство, но уже в контексте экономических и культурных проблем. Религиозный взгляд на нищенство состоял в признании за нищими не только юридического и морального права на помощь со стороны общества и государства, но и духовно-религиозного их (нищих) права на подобный образ жизни как выражение их свободного выбора. Вот почему дореволюционный опыт государственного отношения к нищим за имперский период прошел определенную сложную эволюцию, от узости упрощенного, утилитарного, формального взгляда к христианскому отношению к ним. В результате нищие к началу XX в. стали трактоваться широко, и как категория социально-функциональная, в рамках только экономической целесообразности, и как религиозная категория, в которой заключен свой внутренний смысл, которым нельзя пренебрегать даже государству. Единственно, непонятно, как государство собиралось отдавать «Богу Богово, а кесарю кесарево», соединить вещи во многом несоединимые. Во всяком случае, очевидно, что уходило в прошлое то узкое унифицированное отношение к нищим, что было характерно для XVIII столетия, когда все определялось полезностью и заботой о физическом здоровье.

Менялся за имперский период и общественный взгляд на нищенство. Здесь, конечно, не было столь радикально выстроенной модели неприятия нищенства, каковой она была у государства в XVIII столетии, но была определенная разделенность на негативное отношение у некоторой части аристократии и сохранение традиционного – милосердного – у части помещицкой России и повсеместно положительного взгляда у простонародья, из среды которого нищие в основном и появлялись. Вектор этой разделенности был четко обозначен до поры (до начала XIX в.) и оказывал серьезное влияние в целом на общественное настроение по отношению к этой категории населения. При том, что негативно относящаяся часть аристократии составляла меньшинство в обществе и только часть правящего слоя, но именно они задавали тон, определяющий поддержку однополярному государственному взгляду на нищенство, что во многом повлияло и на народный взгляд. В последнем случае, как нам видится, нашел себе поддержку тот критический взгляд на нищих, который, как было отмечено выше, сложился у народа на основе Евангелия. Вот почему, когда в XIX в. государство постепенно стало менять свое однозначно критическое отношение к нищим на более широкое и двухполярное, в народе продолжала сохраняться память не только «евангельского» (как считал народ) критического взгляда, но и теперь уже и государственного негативного взгляда. А это придавало ситуации уже другой, негибкий, а в какой-то степени «законнический» оттенок. Практика судить нищенство на основе только закона выходила за рамки православного и церковного взгляда, и конечно, подобные настроения в народной среде бытовали там, где церковность и вера были ослаблены.

Следы духовной болезни среди самого нищенства особенно зримо проявлялись в самой среде нищих, как сельских, так и городских. В городе эта среда стала иногда соприкасаться с преступным миром, участвовать в криминальной деятельности. Часть нищих переместилась от храмов и монастырей к рынкам и торговым рядам и стала участвовать в некоей цепочке денежных доходов, которые здесь складывались. Близость к большим деньгам, участие в экономической жизни большого города порождало в этой части нищих иллюзию активной жизни. Отсюда появляется «феномен Хитрова рынка», так мастерски описанный Владимиром Гиляровским. В сельском мире к концу XIX в.

появляются свои профессионалы, также превращающие нищенство в профессию, и нередко доходную[4].

Итак, подводя итог краткой характеристике дореволюционного нищенства, следует подчеркнуть: в России тогда существовало две формы нищенства: традиционное, опирающееся на христианские и традиционные начала, независимо от того, сельские это были нищие или городские, и нищенство профессиональное, живущее по законам рынка, торгующее своим статусом нищих (выгодно и невыгодно для себя), при том же самом раскладе на сельское и городское нищенство. Нищенство в части своей потеряло «евангельскую простоту» и стало уязвимо и для критики, и для духовной цельности всего нищего сообщества, в том числе и влияния его на окружающий мир.

«Советские нищие» в 1920-е – 1930-е годы

Все сказанное заставляет нас более внимательно отнестись к тому, что «было до революции» и потом «стало в советское время», а именно, что новизна появилась в советском государстве не из пустоты; в зародышевых формах, в том или ином виде, она имела место уже в дореволюционной России. Во-первых, главный источник советского подхода – это государственный однополюсный взгляд на нищенство, который имперское государство, как ни старалось погасить за вторую половину XIX – начало XX в., но не смогло этого сделать. Не смогло по той причине, что негативный, односторонний взгляд на нищенство проник в какую-то часть народной массы, и одним желанием и законом это было уже не вытравить. Эту формализованную основу утилитарного взгляда на нищенство советская власть потом использовала. Во-вторых, налицо была духовная нецельность, разобщенность народной массы в дореволюционной России, что тоже давало право советской власти действовать как бы от лица народа, в котором сложилась такая точка зрения. Подробнее рассмотрим далее каждый из этих тезисов.

Нельзя не видеть противоречия в самой постановке вопроса о неясности отношения советской власти к нищим. Казалось бы, нищие должны были быть в числе самых родных для «народной» власти, предметом ее особого попечения с самых первых лет ее существования. Тем не менее это было не так, и нищие как никакая другая категория населения могут служить маркером расхождения слова и дела новой власти. В марксизме-ленинизме даже существовал один термин, имеющий негатив-

ное содержание, – «люмпен-пролетариат». Это были люди, по мысли большевиков, которые по вине буржуазии потеряли свою классовую квалификацию – революционной настроенности на борьбу – и были неспособны к активной жизни. Делая ставку на пролетариат и сельскую бедноту, большевики с самого начала отмечали в нищих отсутствие желания трудиться, как их родовую черту, и эта черта сближала нищих с люмпен-пролетариатом, деклассированной частью пролетариата. Среди нищих какой-то значительный процент относился к калекам, престарелым и т.п. – людям, требующим к себе очевидного, неклассового подхода, но именно эта категория, не могущая быть врагом власти по определению, была на долгое время оставлена без внимания на выживание и самообеспечение. Почти до середины 1930-х годов государство системно не занималось таковыми нищими, но и тогда, когда занялось, нельзя сказать, что это был гуманный подход. Была поставлена задача, чтобы крупные советские города, особенно столичные, были освобождены от нищих, чтобы здесь не было диссонанса всего советского – передового и прошлого – отсталого. Нищие стали очевидным образом иллюстрировать собой прошлое – «нищей и убогой России». Их именно переселяли с глаз подальше, а не перемещали в выстроенные для них пансионаты и санатории.

Обратим внимание на то, что «односторонний государственный советский взгляд» на нищих отличался от «одностороннего государственного взгляда имперского времени», хотя, казалось бы, и тот и другой взгляд характеризовался формальным отношением, утилитарностью, внерелигиозной оценкой нищих. Но при этом для имперских государственных «нищие были разными»; по отношению к тем, что попали в поле зрения и опеки государства, был утилитарный подход, а за другими признавалось право на самобытность. Советский государственный вторую категорию нищих не видел, не хотел видеть и не признавал. Со всеми он работал как с одной большой категорией, требующей только технических усилий, технических затрат и технической локализации.

Современные исследователи смотрят на нищенство как на социокультурное явление, и это привычка видеть в нищем только технически и финансово затратную категорию, актуальную своими вторичными социальными характеристиками. «Феномен нищенства интересен не столько сам по себе, – пишет исследовательница Е.Ю. Зубкова, – сколько как угол

зрения на ряд социальных проблем и «ключ» к их пониманию. Среди этих проблем — бедность, маргинализация и депривация населения, возможности ресоциализации для аутистичных, границы социальной мобильности, качество социальной политики, особенности социального порядка, взаимоотношения «основного» общества и социальной периферии и т.д.»[5, с. 284.]. Но как же исследовать вторичное, не обращая внимание на первичное? Или первичное в нищенстве кажется таким примитивным, таким не культурно-емким, что кажется можно обойтись и без первичности нищенства, сразу переходя к его вторичным формам. Такой подход, на наш взгляд, навязанный нам советской государственной школой, уводит современного исследователя далеко от предмета изучения. Конечно, многие нищие сегодня понятны и просты в своей жизненной мотивации; это т.н. бомжи, опустившиеся люди, плывущие по течению, не имеющие не только ни жилья, ни средств существования, но и никакой внутренней человеческой культуры общности. Но даже они не должны оцениваться исследователем по такой одноплоскостной шкале, не говоря уже о тех — советских — нищих, которые имели еще гораздо больше прав на то, чтобы в них видели людей со сложной судьбой, сложным внутренним миром, людей традиции, которая насчитывает не одну тысячу лет. Речь, разумеется, идет не об апологетике нищенства, а о несводимости этой фигуры к обозначению «попрошайка», какой в последнее время ее наградили со стороны государства. Нищие и сегодня не должны сводиться к попрошайкам и бомжам, как бы много их ни было; и даже более того — как бы ни хотелось нам их всех подвести под этот знаменатель. Нищие требуют к себе личностного, человеческого подхода, в том числе в исследовательской сфере, потому что, на наш взгляд, нищих таковыми (попрошайками и бомжами,) делает определенное время (государство и люди), а не сами они, в первую очередь. Поэтому наш главный тезис будет звучать следующим образом: нищие — это люди, которые вписаны в некую очень древнюю традицию; и любое время, как бы оно ни перемалывало эту социальную категорию, не может претендовать в полной мере на душу нищего, на его суть, на его ядро, которое не подконтрольно времени и которое дает исследователю шанс в любом хронологическом отрезке времени, в том числе в современности, увидеть сложные формы нищенства. Сложность этих форм сродни любой

другой социальной, человеческой сложности, поэтому у исследователя при изучении даже современных нищих всегда есть шанс подойти к глубинам человеческого «я», за которые он не может зайти.

Но вернемся к советской реальности 1930-х годов. Центральным моментом здесь, на наш взгляд, была ленинско-сталинская практика унификации человека в целом. И нищий, как достаточно репрезентативный персонаж прошлой России, должен был пройти прокрустово ложе социальной сегрегации, попасть в ту же самую обойму, в которую затыгивали все социальные группы и сословия. Нам важно понять лишь специфику советского сегрегационного отношения к нищим, потому что советская власть явно демонстрировала разные — как репрессивный, так и поощрительный — подходы сегрегационной практики. Уже отмечалось, что нищие были для советской власти наполовину положительным, наполовину отрицательным субъектом. Они были бедняками, ради которых большевики, как сами они говорили, и захватили власть. Но они были не трудящимися, а значит теми «паразитами», к которым надо было применять большевистское классическое «не трудящийся да не ест». Поначалу, еще при Ленине, проблеме было решено преодолеть через разделение нищих на бедных и паразитов. Бедными стали инвалиды, престарелые, оказавшиеся на улице и которых как «инвалидов» стали помещать в социальные учреждения, малообеспечиваемые, но решающие эту задачу в целом. «Паразиты» же были оставлены до поры на полную самостоятельность; на выживание, на социальную переориентацию; на рассеивание по разным социальным группам в условиях новой политической реальности. Эта основная, мобильная группа нищих, оставленная без какого-либо попечения со стороны государства, вплоть до середины 1930-х годов продолжала жить своей, отчасти традиционной жизнью, связанной со странничеством, достаточно тесной связью с церковью, перемещением по сельским территориям. Основная часть нищенствующих таким образом были людьми традиции, т.е. людьми, выбравшими данный путь, в какой-то степени добровольно, принимавшими выпавшую им долю как Божью волю, как крест, который им выпал и который необходимо безропотно нести. Революция 1917 г. и Гражданская война, очевидно, тоже не столько выталкивали (выдавливали из социума) людей на нищенство, сколько заставляли тех или иных лиц определяться с новой реально-

стью, по пословице «не зарекайся от сумы и от тюрьмы». И вот такой старый механизм (по одному, через свободный выбор доли) пополнения самой любимой народом категории нищенствующих продолжал, на наш взгляд, существовать вплоть до коллективизации, когда впервые за всю историю крестьянства рухнула вся горизонталь и вертикаль традиционных ценностей, в том числе и связанных с пополнением когорты вольных нищих. Насильственная коллективизация, раскулачивание русской деревни привели не только к перемещениям миллионов крестьян, но и к *вытеснению* из деревни огромного числа бедняков, которые до того сильно зависели от зажиточных крестьян, работы у них, включенности в трудовой цикл через эту страту. Ведь советская власть, когда принялась за раскулачивание и коллективизацию, только в будущем обещала рай на земле, а поначалу она лишь разрушила налаженные производственные связи и сельскохозяйственный процесс. Поэтому огромное число бедняков стали в результате коллективизации нищими, и чтобы выжить, вынуждены были побираться. Феномен «голодных лет» начала 1930-х годов объясняется не только неурожаями, но и последствиями коллективизации. Обнищанию в одночасье подверглись в условиях совпавших неурожая и насильственной коллективизации миллионы крестьян во всех регионах. Исследователь отмечает: «через паспортную систему с 1933 г. из промышленных центров убирались “бродяжнические элементы”. Это были голодающие. Их отправляли в специальные трудовые отряды для использования и строительства дорог и в каменоломнях. В апреле 1933 г. ЦК ВКП(б) принял решение об организации вдобавок к многочисленным лагерям, колониям, спецпоселениям и т.н. трудовых поселений, куда направляли этих нищих, 124 тыс. человек» [6, с. 81–82]. В дневнике В.И. Вернадского в начале июня 1941 г. есть следующая запись: «1932 год. – На Украине голод. Он произведен распоряжениями центральной власти – не сознательно, но бездарностью властей. Доходило до людоедства – хотя украинское правительство исполняло веления Москвы. Крестьяне бежали в Москву, в Питер, много детей вымерло» [7]. Как отмечает историк В. Б. Жиромская, данные события унесли жизни нескольких миллионов людей на Украине, в Азово-Черноморском крае, Саратовской области, Сталинградском крае, Курской и Воронежской областях. Причем «имело место значительное количество случаев смертей, не записанных в книгах ЗАГС» [8, с. 44]. Вот почему

ученым до сих пор приходится косвенными путями реконструировать демографическую ситуацию начала 1930-х годов. Одно ясно, что тогда от голода умирала многомиллионная масса сельского населения, попавшего в нищенское положение, но не сумевшего прокормиться даже нищенским путем, поскольку в водоворот бедствия были вовлечены миллионы крайне нуждающихся лиц. Демограф отмечает, что по косвенным данным с 1926 по 1937 г. (ни войны, ни эпидемии не было) «потери населения СССР составили 11 млн. человек» [9, с. 46]. В 1930-е годы в результате спровоцированного властью массового (миллионного) нищенства в деревне образовалась, по сути, впервые демографическая яма рукотворного характера. В это число не вошла значительная часть богатых и среднезажиточных крестьян, «раскулаченных» и выселенных на Север и в отдаленные места Сибири, в спецпоселения, где многие из них умерли также в нищете и заброшенности.

Как оценивать подобные формы *рукотворной* нищеты, размаха (да и явления как такового) которого не знала дореволюционная Россия?! Тем более кажется парадоксальным то, что советская власть декларировала свою борьбу с нищетой, как с несоветским явлением и в статические справочники помещала совсем другие данные. Конечно, там фиксировались другие цифры и другие нищие – те, дореволюционные, что привыкли просить подаяние возле храмов, часовен и монастырей, и таких нищих, как отмечает перепись 1926 г., было не так много в столице. Нищие входили тогда в категорию «деклассированного населения». Так вот, на 1926 г. их числилось в Москве 1680 человек: 728 мужчин и 952 женщины [10, с. 10]. И возраст этих нищих традиционен: большинство их люди пожилого (60–64) и старческого возраста (более 70 лет). Все остальные возрасты (в том числе детские) представлены средней численностью в 50 человек [11, с. 82]. Для публикации результатов переписи 1926 г. были подготовлены справки, сравнительные цифры данных за 1920 и 1923 годы. Выяснилось, что за шесть лет число нищих в столице все время прибывало: 1920 г. – 401 чел.; 1923 г. – 1521; 1926 г. – 1680, причем женщин в этом числе было вдвое больше мужчин [12, с. 90]. Для сравнения отметим, что Ленинград имел приблизительно те же объемы цифр, что весьма подозрительно: 1920 г. – 72 чел.; 1923 г. – 810 чел.; 1926 г. – 1688 чел., с теми же пропорциями женщин и мужчин, что в Москве [13, с. 91].

В целом по РСФСР перепись 1926 г. зафиксировала 133 тыс. нищих, из них 31 586 – это городские нищие, а 105,3 тыс. – сельские [14, с. 127]. В процентном отношении 133 тыс. по отношению к общему числу жителей РСФСР на этот срок – 7 896 653 чел. будет составлять 0,6%. В переписи 1937 г. «нетрудящихся», куда кроме нищих включили и «служителей культа», было намного меньше – 0,05% от всего населения [15, с. 120]. Или нищих стало меньше, или статистики успели об этом позаботиться. Скорее всего, второе.

Тем не менее, очевидно, какие-то волны «рукотворных нищих» – советских нищих из разоренных реформами деревень, доходили и до больших городов, потому что периодически проходили не просто «домашние» чистки и выселение и отправление нищих на родину, в ближайшие области – Калужскую и Смоленскую, а спецоперации по переброске советских нищих в спецпоселения. Так, сохранилось письмо главного атеиста страны Е.М. Ярославского И.В. Сталину и, очевидно, поручение руководителя государства Г. Ягоде о наведении порядка на улицах Москвы. «Тов. Сталину. За последнее время можно заметить в ряде районов Москвы увеличение числа нищенствующих. Как живущий давно в Москве, я могу констатировать, что это увеличение в значительной степени сезонного характера: оно наблюдается весной с потеплением. Но с каждым годом это появление на улицах Москвы нищенствующих становится все более и более нетерпимым для нашей социалистической столицы. Располагаются эти нищенствующие в излюбленных местах, например, можно всегда видеть их на улице Воровского ближе к Арбату, где живут иностранцы (посольства). Одетые в крестьянское платье, с маленькими детьми на руках (говорят, что иногда и детей берут напрокат), они жалостливо выпрашивают на хлеб, а когда к ним обращаются сердобольные обыватели с расспросами, они объясняют, что они из голодных колхозов. Если их хорошенько начнешь расспрашивать, из какого колхоза они, то сразу же видишь, что они выдумывают. Сколько их в Москве — сказать трудно, но на рабочих собраниях в записках рабочие ставят вопрос о том, почему мы позволяем нищенствовать. Что очень многие из этих выпрашивающих, если не большинство, являются профессионалами, видно из того, что они по несколько лет стоят на улицах, переодеваясь даже. Где они ночуют? Говорят, что они ночуют под лестницами различных правительственных учреждений, школ,

жилых домов и т.п. Они, несомненно, являются носителями антисоветской пропаганды. Мне кажется, что пора и можно с этим злом покончить. Мое предложение сводится к тому, чтобы для решения вопроса о том, как поступить с ними, произвести однодневную облаву, выяснить точно, сколько их в Москве, кто они, как долго занимаются нищенством, где они живут, — чтобы получить совершенно ясную картину этого явления. Только после этого можно будет принять конкретное решение. С коммунистическим приветом *Ем. Ярославский*. 23 февраля 1935 г.» [16, л. 1-6]. И.В. Сталин по-отечески попросил разобраться с этой проблемой Г. Ягоду. Тот доложил: «Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Сталину. В связи с запиской тов. Ярославского считаю необходимым сообщить, что московской милицией производится систематическое изъятие нищих с улиц и отправка их на родину. Так, за 34 год изъято в Москве 12 848 человек, занимающихся нищенством, из них 12 231 высланы на родину, 408 человек устроено в московском отделе социального обеспечения и 209 человек освобождено под подписку, что впредь не будут заниматься нищенством. Из всего количества изъятых нищих в 34 году — мужчин 4399 человек, женщин 4515 человек и детей — 3934 человека. В январе 35 года изъято 702 человека, а в феврале месяце — 893 человека, из них 1300 отправлено на родину. Из приведенных цифр высылаемых на родину видно, что подавляющее большинство (95%) занимающихся нищенством — это приезжие, причем основную массу составляют жители Алексеевского района Харьковской области, Жиздринского и Хвостовического районов Западной области. Из этих районов следует особо выделить деревни Охоче и Верхние Бежки, Боткин и Нехочь. Эти деревни с царских времен занимаются нищенством и смотрят на это, как на подсобный заработок. Высылаются и вновь приезжают. Большинство приезжающих нищенствовать — это единоличники, но есть и колхозники». Г. Ягода предложил более радикальный способ борьбы с нищенством, чем существовал до этого: «Предложение тов. Ярославского о производстве облавы с целью выяснения контингента нищенствующих ничего реального не даст, ибо уже высланных — 14 тысяч человек, мы контингент в достаточной степени изучили. Я прошу разрешить изъятых нищих направлять под конвоем в спецпоселки Казахстана. Вопрос об отпуске средств для устройства нищих в спецпоселки мною поставлен перед Совнаркомом Союза 20 января сего года за № 55439. Народный ко-

миссар внутренних дел Союза ССР *Ягода* 3 марта 1935 г. № 55517» [17, с. 1-6]. Перепись 1937 г. включала в себя категорию «нетрудящиеся» (нищие, бродяги и проч. деклассированные), но как отмечает В.Б. Жеромская, «обозначение этой категории было поставлено в вину организаторам переписи», ведь новая конституция провозглашала конец эпохи классовых борьбы, и потому все ненужные противоречия должны были сглаживаться, хотя бы в публичном пространстве.

Было бы полезно проиллюстрировать нашу мысль о «советских нищих» одним, но типичным примером человека, до поры жившего в Тамбовской деревне, в среднезажиточной семье, но волею исторических судеб выброшенного вместе с его родителями на обочину нищенского существования. Причиной личного катаклизма его семьи стало раскулачивание. Обратимся к дневнику Михеева Николая Васильевича, опубликованному не так давно в журнале «Традиции и современность» [18, с. 157-176]. Как пишет автор, большая семья состояла из деда с бабушкой, шестерых взрослых детей (но не всех к 1930-му году семейных), женатого старшего сына с четырьмя детьми, всего же в семье было четырнадцать человек. «В хозяйстве имелось две лошади, корова, телка и десять овец». Дед «трудился на славу для себя и государства, исправно платил налоги и всевозможные подати. Был у него хороший сад, корней сорок яблонь и на каждой яблоне привито два-три сорта разных яблок, были вишни и сливы, смородина, малина «Виктория». Все возделано его собственными руками при содействии трудолюбивой и очень доброй жены Марины Ивановны Михеевой». Обиход семьи был самый обыкновенный: «работали с огоньком», отдыхали с песней, в праздник все ходили в храм, вставляли и ложились с коллективной молитвой. В мае началась «потеха коммунистической голытьбы»: все из дома, амбара и скотного двора было извзято, увели даже собаку, которую долго били кнутом, чтобы она покорилась. Дом забили досками, семью отправили куда глаза глядят. Началось скитание по квартирам: сначала на короткое время семью принял родственник Михеев Григорий Яковлевич, уже колхозник (поэтому его не тронули), к зиме перебрались в пустой дом Фени Семкиной, к следующему лету перешли в пустой дом Васьки Дронова, перезимовали, а весной перешли в кирпичный дом Арины Сергеевны, где прожили год. Это был голодный 1933 год, варили конский щавель и пекли из него полуржаной хлеб, работали по

найму, что позволило есть со временем чистую ржаную кашу. Через год перешли в дом Слепова Ивана Фомича, родного брата матери автора воспоминаний, коммуниста, который временно перебрался в другую деревню. Здесь семья прожила с 1934 по 1938 год. Работали по найму (починка обуви, плетение лаптей, единоразовый найм) и стали жить сносно, женщины тоже помогали шитьем на продажу, помогал (частично) и огород хозяина дома. Потом хозяин продал дом, и семья Михеевых снова стала искать жилище. Все время платили высокие налоги, а кроме того, периодически бывали обыски с изъятием накопленного добра. Плату за работу в основном получали не деньгами, а продуктами, эти продукты и отбирали во время обысков. В школе детям учиться было невозможно из-за издевательств детей активистов, поэтому сидели дома. Часть детей умерла от болезней и простуд. В 1937 г. арестовали главу семьи дедушку Федора во время косьбы травы. Приехали энкеведешники из города и увезли, вскоре он был расстрелян, хотя семья об этом долго (до 1989 г.) не знала. В 1937 г. арестовали и отца автора воспоминаний во время работы в соседней деревне. Увезли без прощания с семьей. Десять лет он провел по лагерям Севера, освободился только в 1947 г. Семья осталась без старших мужчин, когда была выселена в очередной раз из чужой избы; им разрешил поселиться в своем доме живший в Ленинграде земляк Краснобаев Николай Михайлович. В доме проживал его младший брат инвалид. Здесь прожили три года. Трудно было с дровами, корчевали старые пни и тем обходились. И в этом доме их не оставляли власти; проводили облавы и забирали приглянувшиеся вещи. Забрали (как плату за налог) и добытые кровью и потом дрова из пней. С трудом добывали пропитание, ходя по селам в поисках продающейся в государственных магазинах муки. Это 1939 г. К этому времени оставшиеся в живых дети стали работать по найму: брать в починку валенки, клеить галоши, копать огороды, перебирать картошку. Работали за хлеб. Был случай, когда с трудом отбились от насильника председателя колхоза, который напал на одну из женщин. С началом войны 1941 г. опять начались гонения, новый поиск жилья, временно остановились у Гриши Авдошина, но того заставили выгнать несчастных, как врагов народа. После поисков остановились в доме Тони Ваниной, прожив здесь четыре месяца. Но и ее заставили отказать «бывшим кулакам» в жилье, начались новые поиски. Нашли квартиру в садовом поселке. Их пустила

Женька Семкина, жившая в это время в Ленинграде. Прожили здесь год, но прожили в большом напряжении, потому что все время власти докучали проверками и угрозами. Много трудились кто где по найму. Осенью 1942 г. автора арестовали, так как опять началось преследование «бывших кулаков». Нашли повод, произвольно объявив, что я не плачу налог. Автор воспоминаний сумел убежать из сельского заключения, продолжив трудиться, занимаясь починкой обуви. Приходилось все время избегать людных мест, потому что могли придаться и арестовать по любому поводу («много было недоброжелателей»). «Под Рождество 1943 г.» его все-таки арестовали вместе с другими родственниками. Всего четырех человек. Поводом для ареста послужил призыв в армию; все четверо попали в число неблагонадежных. Из деревни под охраной отправили в районный центр. Уйдя из-под ареста, автор вместе с другим арестованным сельским парнем «из кулаков» стали скрываться; то работали в отдалении от своего села, то прятались в подполье у себя дома. Иногда автор жил у соседей на чердаке, иногда в подполе, в овечьем хлеву с овцами, не раз избегал облав, которые на него устраивали. Раз нарядился женщиной и ушел в лес из-под самого носа милиционеров. Но от холода и сырости потом вернулся домой, опять к овцам. Через некоторое время перешел жить к тете в подполье (вместе с монахом Енохом). Его семья продолжала путь скитальчества по чужим домам, и он следовал за ними; жил в сарае среди навоза в яме. Так прожил две зимы. Потом семья опять вынуждена была сменить жилье. В новом месте арестант опять приспособился жить в сарае, где провел послевоенный 1946 год. Крик души этого времени: «Я скучал по воле, да и надоело есть хлеб, который не заработал». Нищий человек с психологией совсем не нищего человека! Из Тамбовской области он тайно перебирается в Пензенскую область, поближе к родственникам – трем своим тетям. Собирали на полях, по ночам, зимой плохо убранный картофель (40 км от места, где они жили) и из него делали крахмал, продавали, подрабатывали пошивом обуви и одежды. Автор очень страдал от ревматизма ног, который заработал пока сидел по подвалам и сараям. Но и здесь ему не давали покоя власти, арестовали и собирались даже отправить в лагерь, но случай позволил ему бежать, после чего он попал в г. Кирсанов. Там у знакомых были очень удивлены тем картофельным черным хлебом, который автор предложил хозяину дома в качестве угощения. Удивились, что это

можно есть и что деревня этим живет до сих пор. Из Кирсанова пришлось уйти в более глухое, сельское место, к прозорливому, слепому старцу в с. Чутановку. Старец после угощения и отдыха направил юношу идти в Алексеевку: «Туда твой путь, там твоя жизнь, там тебя никто не тронет». Тогда же старец сказал, что новые порядки для Церкви и верующих наступят в 1990-е годы. В новом месте автор воспоминаний встретился с родными из числа когда-то большой их семьи и здесь начал действительно другую жизнь; освоил профессию печника, потом портного и стал неплохо подрабатывать. В 1947 г. встретился с отцом, вернувшимся из лагеря, но встретился тайно. Время от времени приходилось продолжать прятаться в специально вырытой яме во дворе. Вот эта сцена встречи: «Пришел отец, собрались родные, соседи, знакомые, сидят за столом. Был уже вечер. Я вышел из ямы, смотрю в заднее окно – охота увидеть отца. В доме народу много и так толпятся, что отца невидно. Он сидел за столом и его окружили. Я долго стоял, но сильный мороз давал о себе знать. Я решил спуститься в яму и стал ждать, когда позовут. Наконец, позвали. Вошел в дом, обнялись с отцом, целовались и от радости плакали. Потом долго беседовали. Отец рассказывал о своих похождениях в тюрьме, сколько ему пришлось пережить. Было уже за полночь, а мы все разговаривали. Наконец утомились, стали готовиться ко сну. Я пошел в свою яму, а утром отец спустился ко мне. Мы долго говорили. “Да сынок. Не сладко тебе жилось без меня”» [19, с. 170]. Автор воспоминаний рассказывает, что ему не скоро удалось воссоединиться с родными, поскольку за ними все время наблюдали и ему пришлось жить в другом селе, там работать, жениться в 1951 г., но сначала без оформления брака, т.к. у юноши не было документов. Сумели, однако, как-то зацепиться через знакомых и получить свидетельство о рождении и по нему уже заключить брак. В 1953 г. с молодой женой купили простенький домик с земляным полом, куда стелили солому, но зимой все равно было холодно. Постепенно, накопили денег и постепенно сделали хорошие, теплые полы. Удалось решить вопрос с военным билетом. Один за другим стали рождаться дети, в семье было все ладно. Дети выросли хорошие, работающие и чтущие родителей. После смерти жены от болезни уже в пожилом возрасте, автор воспоминаний женился второй раз и благодарит Бога и за первую супругу, и за вторую, за детей. В воспоминаниях он пишет, что это счастье, очевидно – «дар

Божий за все страдания, выпавшие на мою долю в жизни». Он так итожит время, прожитое в нищенстве и изгнании: «Я благодарю Господа Бога за все Его благодеяния, которые Он мне дал. Несмотря на все трудности и страдания, переживания и невзгоды, выпавшие в жизни, я не унываю, а считаю себя счастливым человеком, так как прожил жизнь честно, добросовестно относился к работе, где бы ни работал. Я очень боялся, как бы кого не обидеть словом или делом, а также внушал своим детям, чтобы они были честными, трудолюбивыми и независтливыми» [20, с. 174]. Разве не про этих людей говорит Евангелие: «Блаженны нищие духом, яко тех есть Царство Небесное»? Ведь Михаил Васильевич Михеев, четверть жизни проведший в нищете и изгнании, не накопил ненависти, обид, мстительности, зависти и лени, когда его к этому принуждали власть, люди и обстоятельства. Он сохранил нищету духа, когда находился в телесной нищете, и это обстоятельство, как ничто другое, указывает на суть нищенства, как такового, объясняет этот феномен, не с точки зрения его «внешних связей», а с позиции его существования на земле как крайней формы спасения человека от губительной пресыщенности духа мнимым богатством.

Перед нами – другой крестьянский дневник «Ивана Глотова, пежемского крестьянина Вельского района Архангельской области. 1915–1931 годы», – где записи касаются только крестьянского обихода, большей частью хозяйственного, с краткими упоминаниями о посещении церкви, исповеди и причастия [21]. Содержание записей уже позволяет отметить в авторе записок не только человека дельного, разумного, грамотного, хозяйственного, но нравственно чуткого, с христианской душой, милосердного и добродетельного. Авторы публикации дневника собрали об этом крестьянине дополнительный материал, позволяющий расширить наши знания о нем; а именно то, что он пользовался глубоким уважением у односельчан до конца своих дней. Автор прекратил вести дневник в 1931 г., когда его семью сделали нищей, забрав все накопленное своим трудом; когда запечатали храм, когда вместо свободного и вдохновенного труда он должен был выполнять «трудповинность» на лесозаготовках и лесосплавах. И нищенство, и несвободный труд он принял со смирением; когда началась Великая Отечественная война, отправил своих сыновей на фронт (ушли и два зятя), где старший Анатолий погиб, посмертно награжденный орденом Славы 3 степени.

Иван Григорьевич Глов не стал описывать годы своего вынужденного нищенства и скитаний. Лишь на последних страницах дневника, когда над ним уже был занесен меч «советского правосудия», он все так же информационно сухо пишет «ввели в разряд кулаков», потом, после письма Калинину с просьбой разобраться, его опять «ввели в середняки», но через некоторое время «положение жизни обострилось: пришла весть, что опять вводят в кулаки и выселение неизбежно». В результате ему разрешили остаться в собственном доме, но на положении особого должника советской власти, в результате чего подростки уже дети не выдержали и уехали в город. Авторы публикации отмечают, что «введение в кулаки» и выведение из них было нередкой практикой в Вельском р-не, так местные власти подстраивались под необходимую норму процентов раскулаченных. Если раскулаченных даже не выселяли, то их все равно обирали до нитки, на них накладывали особый налог, в 10 раз превышающий налог на колхозников (куда им доступ был закрыт). Местные газеты шельмовали кулаков, натравливали на них колхозное крестьянство: «Выгоним кулака в лес!» и т.п. Церковную жизнь пресса подверстывала под кулацкую, создавая единый образ крестьянского врага. Исследование по материалам Вельского р-на Архангельской обл. позволило им увидеть отдельные детали процесса раскулачивания, явления сугубо идеологизированного и тенденциозного, под что подстраивались и местные управленцы. В 1930–1932 гг. из деревни было выбрано или пущено по ветру все, что только можно. Следствием этого стал невиданный доселе голод. Вельский житель Николай Евлампьевич Зенков 27 марта 1933 г. записал в дневнике: «Голодуем на четверть фунта хлеба вот уже более месяца. Ни на базаре, нигде невозможно ничего съестного приобрести ни грамма. В деревне вся деревня сама голодуют; ни за какие деньги, ни ради Христа невозможно получить крохи» [22, с. 24]. Подобное положение продолжалось до конца 1933 года. «Итак, 1933 год кончился... Замечателен он тем, что был голодный; “товарищи” из урожайного, хлебного года устроили искусственный голод. Весь год мучились голодом. Кто остался жив, того Бог сохранил, иных прямо чудом. “Ох, Боже! Боже! Прогневил мы тебя!!!”» [23, с. 24–25].

Обратимся к цифрам общего числа раскулаченных, вывезенных и оставшихся на месте, а также покинувших сельскую местность

«добровольно». За годы коллективизации было раскулачено 1,1 млн хозяйств, или 5 196 850 человек [24, с. 158]. Сельское духовенство тоже вошло в разряд раскулаченных. Из общего числа раскулаченных было вывезено и расселено в спецпоселках Урала, Сибири, Европейского Севера и Казахстана 1,4 млн человек. Это были те, кто сами должны были строить жилье в нежилой местности и выживать в условиях полной изоляции, при этом трудясь «на лесозаготовках, в горнодобывающей промышленности и "неуставных" колхозах» [25, с. 159]. Огромная часть раскулаченных перебрались в города – более 4 млн человек [26, с. 159]. Но уже в декабре 1932 г. власть ввела систему прописки и паспортов. Колхозники были лишены возможности иметь паспорта, только в индивидуальном порядке, с согласия правления колхоза. Исходя из этих цифр – пяти с лишним миллионов человек, и следует говорить о масштабах рукотворного нищенства – «советского нищенства», связанного только с коллективизацией.

Итак, мы подошли к центральной теме нашей статьи – теме «советских нищих», которые принципиально отличались от дореволюционных, как бы ни были разнообразны последние в своих проявлениях. Допустим, и там были люди, страдающие от эпидемий, засух, неурожая, для которых нищета делалась на короткое время спасением их жизни. Однако, это были именно природные катаклизмы и в этот процесс вмешивались люди – государство и общество, чтобы помочь этим нищим, создавались комитеты помощи голодающим Поволжья и т.д. Проходил тяжелый год, в крайнем случае два, и жизнь налаживалась. В случае же с советскими нищими речь идет о целенаправленном государственном репрессивном, долговременном воздействии на самую многочисленную часть общества – крестьян, с целью подчинения их своим политическим и экономическим целям. Это подчинение достигалось всеми возможными способами, вплоть до привлечения органов НКВД и сил регулярной армии. В результате проведения насильственной коллективизации, включающей в себя и «раскулачивание», деревня подвергалась мощнейшей сегрегационной акции: часть кулаков (без семей или женщины и дети отдельно, без мужчин) насильственно вывозились и селились на Севере, в Сибири и других пустынных местах, мало приспособленных для жизни; другая часть (как середняки) остав-

лялась на местах, но у них отбиралось всё недвижимое и движимое имущество, они изгонялись из своих домов и предоставлялись сами себе, на выживание. В наскоро вырытых «ямках» в голой безводной степи, в таких же ямках, как и вышеупомянутому Михаилу Васильевичу Михееву, пришлось жить сотням тысячам крестьян. В тайге это были временные шалаши из жердей и веток. Протоиерей Валентин Бирюков еще мальчиком был раскулачен вместе с родительской семьей. Вот как он описывает первые месяцы после высылки из родной деревни: «Сначала, правда, очень тяжело пришлось. Люди в дороге сильно пострадали – больше чем полмесяца добирались до глухих лесов Томской области, куда нас определили жить. Вышли все продукты. Да к тому ж все у нас отобрали – не было ни мыла, ни соли, ни гвоздей, ни топора, ни лопаты, ни пилы. Ничего не было. Даже спичек не было – все выжгли по дороге. Привезли нас в глухую тайгу, милиционеры показывают на нее: Вот ваша деревня! Какой тут вой поднялся! Все женщины и дети закричали в голос: А-а-а! За что?! Замолчать, враги советской власти... Спать легли прямо на земле. Комаров – туча. Костры горят... Начали строить. Сделали общий барак – на пять семей... На сотни километров кругом одна тайга. Среди тайги и появилась наша деревня Макарьевка. Продуктов не было, варили травы, все, в том числе и дети, питались травой... мы выжили. В других местах судьбы раскулаченных складывались намного трагичней» [27, с. 11-12]. Часть переселенцев не оставляли в живых, расстреливали на месте и закапывали в могилах, выкопанных ими [28, с. 13]. В 1937 г. ту же Макарьевку опять разорили, тех, кто ее построил (вплоть до школы, правления и больницы) опять отправили в новую ссылку, кого куда; кого в тюрьму, кого на расстрел, а кого в детские дома для детей врагов народа [29, с. 20]. Не случайно в статистическую категорию «деклассированное население» при проведении описи населения вместе с нищими включали и духовенство. Тем из них, кто не был арестован и не скрывался в городах, затерявшись там, приходилось скрываться и прятаться по подвалам, чердакам. Так, например, жил в специально вырытом подполе схиигумен Митрофан (Мякинин, 1902-1964) в предвоенные и военные годы [30, с. 24-30]. Или известная подвижница Тамбовско-Воронежского региона схимонахиня Михаила (Сарычева, 1891-

1976), избравшая странничество под видом нищенства легальной формой своего церковного служения в 1930–1960-е годы. Сама она происходила из семьи раскулаченных, выброшенных на улицу на выживание. Дети были оставлены в доме вместе со старой бабушкой, которой пришлось «побираться по селам», чтобы прокормить детей. Ссылки в Казахстан не удалось избежать. После возвращения из ссылки судьба подвижницы складывалась в соответствии с ее духовными наклонностями, она стала странствовать, жила под руководством старцев, была тайно пострижена в монашество. Не раз за годы скитаний вместе со своей спутницей она должна была прятаться по чердакам, но всегда молилась за тех, кто нуждался в помощи, в годы войны за земляков на фронте, за страну [31, с. 290]. К числу нищенствующих в 1930-е годы относились не только раскулаченные крестьяне, но нередко и представители сословий, которых советская власть считала враждебными: дворяне, купцы, буржуазия, духовенство (см. примеч. 35). Многие из них, оставшись без мужчин в годы Гражданской войны, вынуждены были также десятилетиями скитаться по наемным квартирам, с трудом зарабатывать себе на прожиточный минимум, терпеть унижения и оскорбления как классово неполноценные люди и граждане. Это было все той же формой советского нищенства. Самой, однако, значительной частью советского нищенства стали раскулаченные.

С зажиточными слоями деревни были связаны в традиционной деревне и бедные слои, которые имели у зажиточных, как правило, работу по найму, после же их разорения и выселения потеряли ее. В результате, в одночасье, в течение двух-трех лет (с 1929 по 1931 гг.) русская деревня лишается самой деятельной своей части, которую насильственно разоряют; распадается сложный механизм хозяйственной жизни, существовавший столетиями, где тон задают самые энергичные и предприимчивые сельские представители. В эти дни, находясь в деревне, писатель М.М. Пришвин пишет: «Я, когда думаю о кулаках, о титанической силе их жизненного гения, то большевик представляется мне не больше, чем мой “Мишка” с пружинкой сознания в голове... Все они (кулаки. – Н.Ш.) даровитые люди и единственные организаторы прежнего производства, которым до сих пор... мы живем в значительной степени» [33, с. 165]. Миллионы даровитых крестьян стали

в 1930-е годы (и вплоть до 1950-х годов!!!) или заключенными в лагеря и спецпоселения или же нищими, были обречены, как Михаил Васильевич Михеев, на десятилетия бездомности, скитаний по чужим углам, жизнь впроголодь, работу за продукты на пропитание, бесконечные проверки и унижения со стороны органов власти и населения, которое власть специально натравливала на «врагов народа», виновников их плохой жизни. Сегодня опубликована только часть материалов – сводок, поданных НКВД в первой половине 1930-х годов «наверх», собранных с мест и иллюстрирующих отдельные детали советского рукотворного нищенства. И во всех имеющихся источниках звучит тема нищих, которые по сути не являются нищими и не хотели быть нищими: «Спецсообщение ПП ОГПУ по Горьккраю о нищенствующем элементе в Омутнинском районе. 30 апреля 1934 г. В Омутнинский район усиливается наплыв нищенствующего элемента из Удмуртской области и Коми-Пермяцкого округа. Среди нищенствующих много женщин с малолетними детьми. В рабочем поселке Лесковского завода в последнее время насчитывается 200 чел. нищих, прибывших из Кудымкарского района Коми-Пермяцкого округа. Без документов на работу их не принимают. Они ходят группами по домам и просят хлеба. Останавливаются в рабочих поселках, деревнях, рассказывают о голоде в своих районах, развале колхозов и т.д. В доме рабочего Лесковского завода Филиппова прибывший из Коми-Пермяцкого округа нищий Мозунин рассказывал: «Мы пришли сюда за 300 верст, в нашей местности страшный голод. В 1933 г. у нас был неурожай, но хлебозаготовки с нас взыскали полностью. Осенью мы ели одну солому, березовые опилки и разную траву. От такого питания народ стал умирать. В нашей деревне Тидиливо в 20 семьях остались живые только в 8 домах, остальные все поголовно умерли. В д. Отопково из 50 хозяйств остались живые в 4 хозяйствах. Умершие лежат в домах, их даже некому убирать. Колхозы все у нас распались, земля осталась незасеянной». Нищенствующая Жакова у магазина продажи коммерческого хлеба говорила: “Дайте мне хлеба, я пять дней уже не ела. Дети мои от голода умерли. Вы еще здесь живете хорошо и не видите нужды, а в нашем крае поголовно все умирают с голода. У нас там уже нет никаких колхозов”. Нищенствующий Мозунин рабочим Лесков-

ского завода говорил: «Меня никуда на работу не принимают, просят документы, но их у меня нет. В наших районах, откуда я пришел, сейчас появилось очень много бандгрупп, которые забирают все, что только найдут, у кого есть хлеб или корова — обязательно отбирают. Со мной шла женщина с нашей стороны с двумя маленькими детьми. Голодных она никак не могла их довести до завода и по дороге бросила. Эти дети, наверное, сейчас застыли». О появлении нищенствующего элемента в Омутнинском районе мы информируем крайком ВКП(б) и крайисполком. Нами приняты меры к изъятию нищенствующих, которые выступают с активной а/с агитацией и занимаются хищениями. Начальник СПО ПП ОГПУ Г.К. Грац» [34, т. 3., с. 566–567].

Крестьяне стали первыми насельниками ГУЛАГа. Начиная с 1929 г. число высланных крестьян измерялось в год десятками тысяч, потом пошли сотни тысяч, власть указывала сколько процентов надо арестовать. За два года (1930–1931) было выслано на жительство в спецпоселения 2 437 062 человек [35, с. 141]. Жестоко подавлялись возмущения и даже восстания на местах, включая многочисленные женские бунты. Такого количества нищих и таких нищих страна никогда не знала, и с этим русская история никогда не сталкивалась. Совсем близко к ним стояли и колхозники — люди и граждански неполноценные (не имеющие паспортов и пенсий до 1960-х годов) и материально настолько бедные, что их достаток нередко в 1930-е — 1940-е годы мало чем отличался от нищенского обеспечения. Таким образом, русское крестьянство начиная с конца 1920-х годов (а подготовка к этому началась еще при Ленине в первую половину 1920-х годов) и в выброшенных на обочину «советских нищих» — нескольких миллионах кулаков и середняков, и в той части, которая относилась к колхозникам, — было превращено советской властью в бедняков или нищих и тем самым стало целым сословием, свергнутым с пьедестала нормального жизненного существования, только потому, что имело название крестьяне — христиане — сословие, самое близкое к Церкви и православной вере. Ленин обозначил крестьянство как потенциальных врагов советской власти, заклеив их выражением «мелкобуржуазная стихия». Этим и объясняется столь жесткая и даже жестокая расправа над крестьянством, которую советская власть начала при Ленине, а продолжила при Ста-

лине и последующих вождях. «Советское нищенство», созданное на базе коллективизации и раскулачивания, стало самой масштабной за всю историю России формой рукотворного народного обнищания, где люди были не просто обобранны до нитки государством и выгнаны на улицу, но в течение десятилетий подвергнуты самым унижительным формам преследования, что и поддерживало их нищенский статус почти до середины 1950-х годов. В 1932 г. М.М. Пришвин делает запись в дневнике, оттеняющую масштабы нищеты и вопиющей бедности в стране: «И теперь, когда все покончено с русской правдой и совестью, когда по градам ходят в лохмотьях. А по весам в редком колхозном доме даже в праздник увидишь кусочек сахара, когда маленькие дети там, у земли, не видят ни баранки, ни сладкого, наш отец (речь идет о Горьком. — Н.Ш), обедаясь итальянским вареньем, на глазах всех устраивает себе очередной юбилей» [36, с. 200]. Пришвин помнит, что Горький когда-то воспевал челкашей и прочих «люмпенов», поэтизировал дно общества как материал для обличения его верхушки. И вот сейчас эта «совесть нации» не хочет замечать гораздо большее в масштабах страны и гораздо более глубокое явление, касающееся уже противостояния брошенного в нищету народа и новой аристократии (в лице Горького), не желающей замечать в своих барских привычках окружающую жизнь простого народа.

Первая огромная волна советского нищенства, выросшая на раскулачивании при коллективизации русской деревни, дополненная волнами репрессий против так называемых лишенцев, лишенных гражданских прав «враждебных сословий», не спадала по всей стране все 1930-е годы, вплоть до начала Великой Отечественной войны. Ей на смену пришла «послевоенная волна» нищенствующих, выросшая на почве страшных испытаний всего народа в военные годы: разрушенных домов, разметанных по разным местам семей, нередко оставшихся без кормильцев. При полевом опросе старшего поколения, заставшего войну, многие говорят в первую очередь о большом количестве нищих, просящих подаяние по городам и весям страны. Очевидно, военная волна нищенства вобрала в себя предыдущую волну — от разоренных сословий, и в первую очередь крестьянского, но виделась эта волна уже как военная, если и рукотворная, то все-таки вызванная вражеским нашествием, а не чем-то другим.

Советское нищенство послевоенного времени

Советское нищенство носило эсхатологический характер; оно иллюстрировало то, о чем писалось в Евангелии: «Если Меня гнали, будут гнать и вас» (Ин. 15, 20). Самые трудолюбивые, деятельные, верующие превращались в гонимых и обездоленных, расстреливались, забирались в лагеря; кто-то избегал этого – в результате прятался по «пещерам» и ямам, чердакам и подвалам. Но у советского нищенства было еще одно лицо – то, которое все время обличала власть, называла нищих «паразитами», «трутнями» и «дармоедами». Как нам видится, советская идеология и пропаганда советского образа жизни, обличение всех, кто плохо трудится, в конце концов, достигала своей цели; часть нищих действительно становилась таковыми, какими их в негативном свете представляла советская власть. Судя по всему, война была временем определенного водораздела, разделившего мир нищих в советской России на две большие группы: одна группа находила свое место, свой центр сосредоточения возле Церкви (сюда, думается, в значительной степени влились те нищие и полунити, которые попали в это положение в результате раскулачивания и отчасти борьбы с лишенцами). Эта группа большей частью была рассредоточена по сельской России, там передвигаясь по дорогам, находя себе приют в домах христовлюбцев, прося хлеб именем Христовым. Другая группа, состоящая в значительной степени из инвалидов войны и обслуживающих их лиц, из бедных и больных горожан, нередко престарелого возраста, была ориентирована на города, чаще крупные, столичные города и здесь, судя по всему, был отчасти другой акцент нищенства и обращения к людям – просили именно как пострадавшие, потерявшие здоровье.

Наиболее трагической была судьба инвалидов Великой Отечественной войны, ставших нищими. Последние более запомнились и память о них сохранилась в текстах, картинах, воспоминаниях, сегодня их стали озвучивать в художественных фильмах, как особую послевоенную категорию лиц, памятных своим страшным видом изуверенных войной людей, до последней степени, и все же сохраняющих жажду жизни. В современном интернете немало об этом пишут, публикуются статьи об инвалидах, вывезенных в одночасье по приказу сверху из Москвы на Валаам и там на долгое время оставленных на существование в самых жалких условиях. Узнали об этих людях

по всей стране в 1970-е – 1980-е годы, когда появились публикации художника Геннадия Доброва. Спрятали инвалидов с глаз долой в начале 1950-х годов, когда страна еще полна была следов военной разрухи и тогда они еще не выглядели как чужеродное явление. Но и тогда уже они стали не нужны власти, поскольку были не просто вопиющими свидетельствами военных бед и испытаний, но портили столичный фасад социалистического города, уже отстроившегося, обновившегося, помытого и причесанного. Еще более этого, власть не могла дальше терпеть поведения этих нищих: они не были тихими, смиренными просителями подаяния, каким должен быть по традиционному канону обычный нищий, являющий даже своим поведением глубину своего отличия от обычных людей. Военные инвалиды-нищие вели себя нередко по-другому, эмоционально, обвиняя кого-то в своей беде, иногда вспоминая и власть; они просили деньги порой требовательно, как долг, который здоровые люди должны им вернуть за их потерянное здоровье. Крики и озлобленность часто звучали из уст этих просителей. Безусловно, это были люди войны, прошедшие через самые тяжелые испытания, с изломанной психикой, но самое главное, судя по всему, это были люди или потерявшие веру, или не имевшие ее, это были те, кого советская власть воспитывала в 1920-е – 1930-е годы и сумела воспитать в безверии и надежде только на себя и на советскую власть. И то и другое эти люди потеряли; стали калеками, да и власть перестала их поддерживать. Отсюда, без веры, им оставалось только буйствовать и выражать свое негативное отношение ко всему и вся. Были среди инвалидов и верующие, тихие нищие, но крики бунтующих нищих заглушали их тихий голос, и поэтому, когда власть приняла решение радикально решить проблему с инвалидами через выселение их в отдаленное глухое место, то уже не разбирались, какой ты нищий, громкий или тихий.

Конечно, решение об избавлении от военных инвалидов было чисто советского толка, оно было радикально и безжалостно, в рамках известной иезуитской догмы – цель оправдывает средства. А поскольку в криках инвалидов порой звучал антисоветский подтекст, имелись нотки обличения властей, бросивших инвалидов на произвол судьбы, то власть считала, что имеет даже моральное право жестко поступать с людьми антисоветских взглядов. Другое дело, что власть сама была виновата в том, что действительно не занималась инвалидами. Их

подлечивали в госпиталях, где затягивались их раны; потом их выписывали на волю, не заботясь о том, есть у них дом или нет, имеется ли необходимый уход. В городах не строились специальные интернаты-больницы, не было государственной программы помощи инвалидам войны, не выделялись средства на специальный медицинский контингент. Советская власть действовала по отношению к инвалидам так, как она привыкла действовать по отношению к народу в целом: он сильный, он сам выберется из трудностей, найдет как это сделать. Но оказалось, что инвалиды в таком огромном количестве, и самое главное – в таком беспомощном и страшном физическом состоянии – это нищие, уже не те бывшие кулаки, отправленные на вымирание, а советские люди, недавно защищавшие советскую власть, – не могут сами выбраться из этой воронки, в которую их сбросила война. И власть в течение пяти послевоенных лет поняла это (!) и приняла решение не подавать им руки, чтобы помочь выбраться, а наоборот – закрыть их в «воронке», оградив забором, чтобы никто не видел, что там происходит и кто там находится. Так впервые власть показала, что она готова расправляться и со своими родными советскими нищими, которые портят ей парадную картину социалистической действительности и слишком активно докучают ей. Это было второе крупнейшее преступление, совершенное советской властью против нищих! Одно было совершено в 1930-е годы, другое в начале 1950-х годов. И за оба эти преступления ответственен, прежде всего, один человек, который, конечно, действовал через помощников, через силовые структуры, через партию и т.д., но на нем замыкались оба эти решения.

Немало, конечно, сегодня спекулятивных публикаций на тему военных инвалидов, поэтому важны в первую очередь свидетельства очевидцев и людей компетентных. Ф. В. Кондратьев (1933 г.р.)* не только писал на эту тему, но сам бывал на Валааме в годы пребывания там инвалидов, сам видел инвалидов на улицах Москвы и Подмосковья. В своем очерке «Судьбы инвалидов Великой Отечественной войны. Свидетельства очевидца» [37] Федор Викторович отмечает, что эта тема порой используется русофобами, которые пытаются дискредитировать власть, которая не могла в условиях разрухи быстро и эффективно помогать инвалидам, но при этом замечает, что партийные санатории функционировали, и возможности для предоставления инвалидам лучших помещений и лучшего ухода были, но этого не

было сделано. «Я могу свидетельствовать это позорное двуличие коммунистической системы многочисленными примерами двойных стандартов, когда на фоне послевоенной разрухи и полуголодной жизни действительных победителей фашизма жирели в спецдомах отдыха, спецсанаториях и спецдачных поселках и сами партийные деятели, их приспешники, а также родственники, которых обслуживали в спецстоловых и в спецмагазинах с невероятно широким ассортиментом по невероятно низким ценам (но только для своих – «спец» с партийным билетом). Я утверждаю это как непосредственный свидетель, поскольку мне приходилось там бывать: моя родная тетка работала в аппарате ЦК ВКП(б), двоюродная бабушка, О.А. Варенцова, была в руководстве партии большевиков, и я бывал в этих «спец» в Подмосковье (Успенское, Рублевка, Кратово, Сходня) и в самой Москве». Автор подчеркивает: «Аморальным в этой истории было то, что этих бывших защитников Отечества, отдавших молодость и здоровье Родине, сама родина в лице её большевистских властей не торопилась отблагодарить. Вместо этого появилось партийное предписание убрать из общественных мест всех просящих милостыню... спрятать их на дальних поселениях, в том числе на далеком острове Валаам в Ладожском озере и в других обителях, пустующих после изгнания из них большевиками монахов и клира (Кирилло-Белозерском, Александро-Свирском, Горицком...), не пуская к ним туристов, журналистов и прочих любопытствующих». Самый крупный и известный Дом инвалидов Великой Отечественной войны был создан на Валааме в 1950 г. и просуществовал до 1984 г. «Общее число обитателей, привезенных в Валаамский дом инвалидов, в разные годы варьировало от 500 до 1500 человек... Вместе с инвалидами здесь, на территории бывшего монастыря жили врачи, санитары и другие работники дома-интерната». Автор бывал здесь несколько раз, в 1966 г. по просьбе патриарха Алексия I (как психиатр) и поддержке министра здравоохранения СССР. Он отмечал не только непростые материальные условия жизни, но много других проблем. «Можно назвать много бытовых и морально непреодолимых обстоятельств, которые делали жизнь инвалидов угнетающей, но самым тяжелым была проблема психологической несовместимости и чувства одиночества среди людей, чувства никому-не-нужности. Мало того, что в палатах было тесно, по 8-15 человек, в них были одни и те же люди на протяжении дней,

месяцев, а то и многих лет... Здесь бы психологическая помощь, работа психотерапевта (не говоря уже о духовной поддержке священнослужителя), но такая помощь инвалидам Великой Отечественной войны просто не предусматривалась. Видя это, я не мог вновь не возмутиться двойными стандартами советской власти. Теперь мало кто знает, что в те годы при каждом обкоме большевизской партии было специальное представительство Главного Четвертого («кремлевского») Управления Наркомата Здравоохранения СССР, которое было ориентировано исключительно на социально-медицинское обслуживание большевиков. Мне довелось быть в одной из таких больниц с лекцией, я был удивлен теми излишествами как штатного расписания, так и материально-технического обеспечения, которые просто бросались в глаза; десятой частью этих излишеств можно было бы достаточно обеспечить интернаты для инвалидов Великой Отечественной войны». Заметим, со своей стороны, что автор попадет на Валаам в 1966, через 16 лет после поселения сюда инвалидов, первые же годы, когда те были привезены на остров, там *ничего* не было подготовлено к приезду больных людей, разруху и неустроенность преодолевали здесь постепенно вместе с живущими инвалидами. Теперь уже ясно, что спецоперация по высылке инвалидов тщательно готовилась; в ней участвовали самые обширные силы органов НКВД, на разных уровнях взаимодействия: перлюстрация почтовой переписки, концентрация сведений о военных инвалидах в одном месте и далее сама, военная по сути, операция – захват и перевозка инвалидов в назначенные точки. Данная операция была проведена в соответствии с тем, как проводились массовые операции по депортации целых народов (крымских татар, калмыков, чеченцев,), а еще раньше – раскулачивание русских крестьян, прямо затронувшее 2,5 млн человек, а косвенно ударившее по всему крестьянству, в том числе беднейшему. И никакой разницы применения государственной силы к мирному населению в большом количестве власть и органы советской власти словно и не чувствовали, не видели, а это значит, что власти было все равно против кого действовать; тот, кто в данный момент объявлялся врагом (независимо от того, был ли он на самом деле таковым или нет), тот и подвергался депортации, высылке, репрессиям, уничтожению. То, что под удар советского государства попали обычные нищие – причем два раза (!) за короткую советскую историю, – о многом гово-

рит! И прежде всего – о глубокой враждебности по отношению к ним советского строя. И понять эту враждебность очень трудно. Зачем за раскулаченным уже юношей Михаилом Васильевичем Михеевым, который никаких обрестов не изготавливал, никого не убивал, никому не угрожал, охотятся, как за зайцем на загонной охоте (расстреливают деда и ссылают отца)? Эту патологическую ненависть советская власть не только декларировала, но и культивировала на всех уровнях, включая уже не властный уровень, а простой гражданский. То есть этих нищих мучили просто как нищих, а не как всесильных кулаков, и в этом мучении советская власть находила подлинную истину классового возмездия. Ни о каком перевоспитании или покаянии не могло быть и речи. Нищета – дно общества – здесь не спасала человека, не были его последней защитой, защитой от Бога, а наоборот только больше распяли преследователей. Именно это, нам кажется, и было подлинной причиной так называемого классового возмездия, и били здесь уже не по нищим, а прямой наводкой по Богу. Как и в случае с нищими инвалидами. В обоих случаях, это выражение крайней степени богоборчества. Только так можно оценить феномен «советского нищенства», имевшего и количественно огромные рукотворные масштабы и осознанный, думается, смысловой центр, по которому власти и направляли свой удар. Поскольку основную часть послевоенных нищих составляли инвалиды войны и труда, с ними и велась со стороны власти основная борьба. Следы этой борьбы, как отмечают исследователи, можно проследить с конца 1940-х годов и до конца 1950-х годов. Подробно на эту тему (в свете анализа государственных и партийных документов) пишет Е.Ю. Зубкова в статье «Бедные и чужие..», поэтому не будем ее касаться, лишь отметим, что, судя по этим документам, советская власть и здесь допускала присущее ей от природы лукавство. Под видом нищих и соответственно всей специфике их положения, она в мобилизационно скором порядке решала вопрос об огромной группе инвалидов войны (среди которых было немало офицеров и орденосцев, попавших на улицу не от хорошей жизни), которых необходимо было оценивать по иным параметрам. За заниженную социальную оценку, которую получили инвалиды войны и труда, никто из деятелей государства (Сталин, Хрущев, Каганович и руководители специальных комиссий: А.М. Пузанов, Р.А. Руденко, Д.С. Полянский) не ответил, никто не давал на го-

сударственном уровне оценку этой трагедии. Их нищенство все покрыло, и бывшие военные заслуги, и их страдания в тех местах, непригодных для пребывания инвалидов, куда их скороспешно и тайно вывезли. Научный мир, пишущий на эти темы, тоже молчит, сейчас не принято давать нравственных оценок историческим явлениям, ведь если все строится по законам конструирования, какие могут быть нравственные мотивации, учитывая, что главным архитектором здесь оказывается интерпретатор, в данном случае ученый.

Война сделала нищими не только военных инвалидов, но и десятки, а может быть сотни тысяч и мирных граждан, лишившихся крова и родных, больных, не имеющих возможности трудиться. Современники отмечают, что в послевоенные годы по селам и городам ходило много нищих. И территория передвижения этих людей была, судя по всему, ограничена определенными рамками, они как правило знали у кого можно останавливаться, кто принимает, а кто нет. Как нам рассказывала Марфа Фроловна Сурайкина (1947 г.р.) [38], жительница д. Жерновка Нижегородской обл., еще маленькой девочкой она была свидетельницей посещения нищими их дома: «У моей мамы нередко жили нищие. Была палатка, полог, как заходишь в дом, огорожено место для них, там нищие спали. Одна нищая была особая, слепая, не разговаривала, только «ай-яй, яй». Все время молилась, звали мы ее тетя Ксения. Ходила в разные храмы за много десятков километров все время пешком, на машину не садилась, даже если ей предлагали. Шла в лаптях, на груди мешочек с просфорками. Еще что-то было на шее, молитвы или другое, не знаю. В своем доме никогда не жила. А в доме-то у нее и было из вещей – одна иконка. Среди сельчан она ходила в основном “по смертным делам”. После войны много нищих, голодных людей. Мы весной собирали, кое в чем одевшись, и корзинками таскали полугнилую картошку. Почистишь, засушишь, через жернов пропустишь и делается как мука. И мама делала тесто из этой муки, замешивала сразу целую кадку; посреди избы ставили кадку, мешали в ней палкой. Топили печь, и мама целый день пекла блины. А люди шли и шли, голодные, всем хочется кушать. Поедят, уходят, за ними другие идут. В чугунах на столе стояла закуска – ряженка, затопленная в печке. У мамы было две коровы. А обрат от ряженки отдавала бедным в селе, чтобы тоже не умерли с голода. Это с 1946 по 1950 годы – самые голодные

годы. Из крахмала делали блины, как резина тянулись, но казались вкусными. За желудками ходили, тоже для муки». Марфа Фроловна рассказывала, что ее мама еще заботилась об одежде нищих; снимала у тех, кто особенно страдал обилием вшей, кипятила ее в баке во дворе («бучила») и потом высушивала. Нищие при этом отправлялись в баню, на промывку и на прожарку. В книге Т.С. Олейниковой, жительницы Воронежской обл., ценной духовной оценкой послевоенного прошлого, автор отмечает, что ее земляки, хотя их советская власть и лишила церкви, но они сохранили добрую и милосердную христианскую душу. Это проявлялось и в нищелюбии в годы послевоенных лишений: «В это тяжелое голодное время ходило много “побирушек” – людей, просивших подать что-то “ради Христа”. Я не знаю, что “подавали” им в такое время, но мне запомнились два случая, когда наша семья принимала странников. Однажды, когда мы сидели кушать за наш “знаменитый” столик, пришел к нам один мужчина. Он был примерно в возрасте моего отца. Его посадили кушать вместе со всеми нами, дали ему, также как и нам, ложку и кусок хлеба. Был какой-то суп. Он вместе с нами ел неторопливо из общей миски. Когда он съел свой кусок хлеба (мы тоже уже съели хлеб), он протянул руку и стал как бы щупать папин кусок хлеба. Папа, заметив это, сказал: “Бери, бери”. “Нет, это что-то мягкое, наверное, это твой хлеб, а я думал, что, может быть, это какая-то косточка”, – по-видимому, он плохо видел. Папа снова сказал ему, чтоб он взял его хлеб, но странник не взял. Он сказал: “Нет это твой хлеб, съешь сам”». Другой случай с нищими был связан с цыганами, которые однажды попросились переночевать: «Папа сказал: “Что же делать? Сами с трудом здесь помещаемся (а жили в протапливаемой кухне. – Н.Ш.), и на морозе нельзя оставить людей. Предложи им, может они согласятся – мы им постелим сена на пол. Если они согласятся, забирай их”. Они, конечно же, согласились. Настелили им сена на полу, они что-то набросили на него и улеглись спать... Запомнились мне эти цыгане у нас дома очень спокойными, совсем не такими, какие они бывают на улице» [39, с. 29–31].

Монахиня Сергия (Чернышева), жительница г. Борисоглебска Воронежской обл., вспоминает о 1960-х годах, как времени с большим числом нищих, странников, блаженных, ютившихся возле единственного незакрытого храма в городе. Она подчеркивает, что нищих принимали не все, но нищие знали, у кого они могут

остановиться. «Еленушка была, Елена Петровна, все странники у нее перебивали и всех нищих она принимала. Какие были люди благодатные! Я знала одну, умершую уже, женщину по Ленинской улице, Мария Ивановна, у нее двери дома для нищих не закрывались, любому страннику откроет, хороший он или плохой. Сколько лет она их принимала. Благословили ее на это отцы. Омывала всех. За чистотой никогда не гналась. Была девой. А жили у нее всякие, бывало, не продохнешь от дурного запаха; бывали и буйные. А она не боялась» [40]. В беседе с церковницами Горшеченского храма (Курская обл.) одна из них – Валентина Васильевна Гребенкина (1928 г.р.) упомянула, что ее мама всегда в своем доме принимала нищих после войны, их тогда называли «побирушки», не только кормила, но и оставляла на ночлег. Она видела в нищих, по Евангелию, Самого Спасителя, поэтому, со слов дочери, «любила даже за ними доедать, после их трапезы» [41]. «Традиционные нищие», к которым мы относим верующих нищих, живущих «по духовным правилам», ютились возле храмов, где от верующих, приходивших на службу, они получали не просто помощь, но помощь, оказанную с добрым сердцем, с радушием, без упрека. Здесь такие нищие чувствовали себя как бы среди своих. Вот почему, как фиксируют отчеты уполномоченных, массовые моления, крестные ходы к святыням всегда сопровождались группой нищих. В 1952 г. крестный ход в Курскую Коренную имел пятнадцать нищих; среди них два слепых кобзаря из Украины и Орловской обл., поющих духовные песни. «У каждого на привязи или в руках бутылочка для воды и у многих еще и икона. Некоторые несут иконы, прилаженные на деревянные палки, украшенные зеленью и цветами» [42, л. 104]. В 1957 г. сентябрьское паломничество в Коренную пустынь насчитывало около 30-40 человек нищих. При том, что всего богомольцев было около 2 тыс. человек [4, л. 117-118]. В докладе Курского уполномоченного Курского обкома КПСС (1956 г.) описывается ситуация похорон монахини-подвижницы в с. Озерки Касторенского р-на. Так вот, здесь на поминальной трапезе в церковной сторожке присутствовали 20 нищих [44, л. 49].

В 1950-е годы еще нередко были случаи хождения нищих-странников в самые дальние богомольческие центры, включая, конечно, самые массовые и популярные в народе Киево-Печерскую Лавру и Почаевскую Лавру. Ходили большей частью пожилые женщины и

мужчины, а также женщины средних лет. В оценках нищих как странников более позднего времени (1970-х-1980-х годов) не раз приходилось слышать от глубоко церковных людей, в том числе священников, что ныне они себя исчерпали, среди них мало осталось подлинных нищих и странников, Христа ради совершающих свой подвиг, в большинстве своем это уже люди не духовные. Об этом мы слышали рассуждение Райсы Владимировны Лычагиной (1914 г.р.), жительницы г. Борисоглебска, воспитаннице монастырских монахинь, живших в ссылке в городе [45]. Ту же мысль высказал местный священник Николай Серов, духовник Борисоглебского благочиния, весьма уважаемый пастырь [46]. При этом священник выделял блаженных (юродивых), которые, хотя и жили как нищие, но не странствовали и отличались благочестием и подвижничеством.

Несомненно, что все перечисленные случаи приема нищих, как и сама эта форма сельского нищенствования, «именем Христовым», – указывают на сохранение и в советское время традиционных форм нищенства и нищелюбия. Во многом, это нищелюбие было связано в эти годы с образом странников, ходивших по сельским дорогам и здесь находивших себе и пропитание, и временный приют. Сельская глубинка традиционно большей частью относилась к этим нищим с сочувствием, хотя принимали их на ночлег не все (как и раньше было), но в любом месте все же были люди, относящиеся к страннику, как к самому Христу. При этом следует отметить, что кроме странничества продолжали сохраняться и другие формы традиционного «Христа ради» нищенства: больные, калеки, старики, блаженные. Как нам поведала А.А. Секирина, жительница с. Болото Курской обл. (1927 г.р.), в послевоенные годы ее родители таких нищих принимали: «За всех не скажу, но мои родители принимали бедных. В Горшечном одна женщина жила с дочерью, они какие-то блаженные были, их принимали. Зайдут к нам, их покормим, оставим переночевать, а утром проводим. А еще был слепой, ходил по всем дворам, но там, где принимали его, туда ходил чаще. Он местный. Сестра была у него, но с детьми и мужем. Кому он нужен такой. И умер-то он у чужих людей» [47].

Обратимся далее к вопросу, также имеющему прямое отношение к нищенству как явлению, с которым советское государство боролось, а именно к теме «тунеядства», т.е. демонстративному нежеланию трудиться так,

как того хочет советское государство. Это тема, не связанная с военными инвалидами, как и с предыдущей темой рукотворных нищих из числа раскулаченных. По советской статистике, к «тунеядцам» принадлежало не так много из числа всей совокупности нищих (на 1954 г.): «инвалиды войны и труда - 70%; впавшие во временную нужду - 20%; профессиональные нищие - 10% (из них 3% - те, кто по состоянию здоровья могли бы работать)» [48, л. 41-46]. Численно 100% нищих, по этим данным, включало 25 500 чел. [49, с. 296] «Впавшие во временную нужду», как и частично «профессиональные нищие» - входили в ту искомую категорию «традиционных нищих», которую мы отметили выше, как людей, близких к церкви, религиозных. Что, конечно, не исключает того, что в генерации «инвалиды войны и труда» таковых не было заметно. Они, очевидно, были в каждой из трех групп, и было это связано с несколькими обстоятельствами: искренностью нищенства, глубиной отношения человека к тому, что с ним произошло, тем воспитанием, которое человек получил в детстве.

«Тунеядцев», как нам кажется, вполне можно считать детищем советского строя, как некое его естественное порождение. И хотя не все «тунеядцы» относились государством и относили себя к нищим, а только часть, но все же эта связка - «нищие/тунеядцы» - указывает на важные детали некоего общего явления. Во-первых, появление трутней в семье рабочих пчел было закономерным по причине излишней зависимости категории труда от механических характеристик, от теснейшей связи человека с машинерией (как это описано в ранних произведениях А. Платонова). Сверхсосредоточенность на труде - это энтузиазм труда, пандемия труда, как стахановство. Труд в его бесконечных советских формах профанации свободных форм (труд в лагерях, труд за гроши на свободе, масса неквалифицированного труда, замена женским трудом мужского и множество других) - все эти формы обезчеловечивания трудового процесса при максимальных затратах человеческого труда, конечно, нельзя сводить только к рабству (хотя это тоже было и это тоже важно), очень важна профанация. Она подразумевает, что человеческий труд - как бы и не человеческий, его можно посчитать за машинный; его можно увидеть не совсем как человеческий, и его можно понять и описать как машинный. Эту игру в труд человеческий, подневольный, который можно преподнести (в качестве общественного искусства) как

труд свободный через кульбиты с машинерией, т.е. включенностью человека в ритм машины, в образ машины, в цель машины. Появление песен подобных той, где были «вместо сердца пламенный мотор», лишь подтверждает нашу догадку о механической природе советского энтузиазма. В свете трудовой машинерии может быть объяснен и феномен особого равнодушия к труду, вплоть до выражения крайних форм, к которым мы и относим нищенство, как форму избегания производственного советского труда. Такое равнодушие, конечно, было и у людей, которые продолжали трудиться на производстве (плюс в сельском хозяйстве), но уже были под властью этой болезни, но там, ввиду того, что люди оставались на производстве, равнодушие к труду приняло другие формы. Эти процессы начались в 1960-е годы, но массово проявились в 1970-е - 1980-е годы. Власть тогда начала создавать при производстве (не исключая сельского) специальные ячейки актива (товарищеские суды), которые занимались рассмотрением вопросов о тунеядстве, лености на производстве, а заодно и других моральных отступлениях человека от норм (пьянстве, дебоширстве, проблемах в семье).

После того, как 70% процентов нищих были вывезены из городов и помещены в специальные медицинские учреждения, интернаты для инвалидов и т.п. (к середине 1950-х годов), нищенство в его оставшейся части уже не представляло большой опасности для власти, во всяком случае, она уже не боролась так целенаправленно, с привлечением не только милиции, но и органов НКВД, как в 1930-е годы. За сельским нищенством (в виде странничества) в послевоенный период и далее не было слежки, не было против него репрессий, и оно, по сути, сошло на нет само к середине 1970-х годов, вместе с преодолением послевоенной разрухи. Судя по всему, к концу советской эпохи сохранилась в более-менее цельном виде только одна категория нищих - профессиональных, состоящая из нескольких разнородных групп: а) религиозные нищие, живущие подаянием на храмовой и монастырской территориях, втянутые в орбиту церковной реальности и, в этом контексте, сохраняющие некие традиционные формы культуры этой категории населения, численно это была небольшая группа - несколько тысяч (до 5 тысяч) человек на всю советскую Россию; б) некоторые городские нищие, которые занимались нищенством как промыслом, позволяющим им

существовать. Про них, как правило, ходили противоречивые слухи, им приписывали большие доходы, богатства. Это могли быть пожилые люди, нередко одинокие женщины, лет 70-ти, которые не просили милостыню на одном месте, но ходили с каким-нибудь старым мешком и разбитой детской коляской и собирали выброшенные вещи на свалках мусора, имели единичные денежные подаяния от отдельных доброхотов. Можно сказать, что в 1970-е - 1980-е годы нищенства уже практически не было видно в повседневной жизни, оно перестало быть частью социальной повседневности. Но причина этого была не в кардинальном улучшении жизни, а скорее в специальных мерах, позволивших переместить одну категорию граждан в социальные спецучреждения; что касается другой, «традиционной», церковной, то их было не так много, в силу того, что немного храмов и монастырей было открыто до 1989 г.

Общие выводы. Представленный материал позволяет нам сделать вывод, что нищие в традиционной системе это не «асоциальный материал», и о них нельзя как о механических явлениях говорить языком механики: вход/выход. Их материальная скудость, и не всегда бездомность, в классической традиционной мотивации оцениваются как дополнение к избытку, а не как лишение его части. Евангельский, христианский взгляд на нищих, глубоко усвоенный русским народом (во всех его сословиях), позволял смотреть на нищих как на достоинство, а не недостаток (через Христа), отмечать их особые христианские функции: миссионерские, прежде всего. Уже в предреволюционный период среди русского нищенства появилось нечто ему чуждое, которое дезориентировало людей и ломало всю тонко настроенную систему милосердной помощи. Профессиональные нищие, как в городе, так и в деревне, давали повод к очернению всего сонма нищих, к размыванию портрета традиционного нищего, к формированию средне-утилитарного взгляда на нищих, как таких же людей, но которым меньше в жизни повезло. Традиционные нищие продолжали сохраняться и в советское время, во все его периоды, однако советская эпоха, с ее антицерковной и антихристианской борь-

бой, сделала нищих особым объектом преследования. Во-первых, в 1930-е годы, когда процветала теория возрастания классовой борьбы, в процессе коллективизации и раскулачивания появилась огромная - многомиллионная группа крестьян, лишенных дома, земли и собственности, превратившихся в нищих. Во-вторых, в 1950-е годы с послевоенными нищими - ветеранами войны и труда (уже не классовыми врагами) - обошлись столь же жестко и решительно, как и в 1930-е годы. Советская власть не любила нищих, не понимала их, объявляла часть (с которой боролась в конкретный исторический момент) нищих тунеядцами и паразитами и, в целом, имела цель избавиться от нищих совсем, как глубоко чуждой для себя социальной группы. Выяснилось, однако, не только чуждой, но и враждебной и духовно неблизкой. В том, что советская власть сделала нищими численно огромную часть зажиточных крестьян, проявлялась не только классовая враждебность к «мелкой буржуазии» (как квалифицировал крестьянство Ленин) - их отправили в лагеря и ссылку, но и духовное противопоставление советского воинствующего атеизма христианству. Точнее сказать, здесь налицо определенная ирония - «вы хотели быть христианами - вот вам нищенство, настоящее христианство, где образ нищего есть образ Христа!». Злая ирония, как и черная неблагодарность в отношении ветеранов труда и войны, просматривается в высылке этих нищих с улиц советских городов, как советский ответ на то, что в годы войны руководству страны и партии пришлось обратиться за помощью к Церкви, к русской истории, полной церковных имен, дышащей православным духом. Это был откровенный жест русофобии, воинствующего атеизма, жест не менее глумливый и циничный, чем предыдущая (в 1930-е годы) акция с раскулачиванием.

Нищие в советское время, как и в дореволюционное, не были пассивной социальной группой, но даже в большей еще степени, чем раньше, были своего рода маркером человечности власти - весов, где взвешивались дела милосердия, и в этой области, как ни в какой другой, оценивался ее гуманистический потенциал.

* Кондратьев Федор Викторович — психиатр, доктор медицинских наук, судебно-психиатрический эксперт высшей квалификационной категории, член Совета по биомедицинской этике при Московской Патриархии, попечитель благотворительного фонда медико-социальной и духовной помощи гражданам старшего поколения России «Геронтологическая защита».

ATTITUDE TO THE POVERTY OF THE STATE AND SOCIETY IN SOVIET TIME

Литература

1. *Энгельгардт А.Н.* Из деревни. 12 писем. 1872-1887. СПб.: Наука, 1999. С. 20.
2. Там же. С. 21.
3. Там же. С. 24.
4. Русские крестьяне /Жизнь. Быт. Нравы. Материалы «Этнографического бюро». Калужская губерния. СПб., 2005. Т. 3. С. 561-562; Там же. Нижегородская губ. СПб., 2006. Т. 4. С. 169-172; Там же. Новгородская губ. СПб., 2011. Т. 7. Ч. 4. С. 283-284; Там же. Вологодская губ. СПб., 2008. Т. 5. Ч. 4. С. 220; Там же. СПб., 2007. Ч. 3. С. 122-124; Там же. Ч. 1. С. 269-270; С. 435-438.
5. *Зубкова Е.Ю.* «Бедные и чужие»: нормы и практики борьбы с нищенством в Советском Союзе. 1940-1960 годы // Труды Института российской истории. М.: Институт российской истории, 2011. Вып. 11. Отв. ред. Ю.А. Петров, Е.Н. Рудая. С. 284.
6. *Хлевнюк О.* 30-е годы. Кризисы, реформы, насилие // Свободная мысль. 1991. № 17. С. 81-82.
7. *Вернадский В.И.* Дневники. 1935—1941. М.: Наука, 2006. В 2-х книгах. Отв. ред. В.П. Волков.
8. *Жиромская В.Б.* Демографическая история России в 1930-е годы. Взгляд в неизвестное. М.: РОССПЭН, 2011. С. 44.
9. Там же. С. 46.
10. Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г.: краткие сводки. Социальный состав и занятия населения. М., 1928. Вып. 8. С. 10.
11. Там же. С. 82.
12. Там же. С. 90.
13. Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г.: краткие сводки. Социальный состав и занятия населения /Изд. ЦСУ Союза ССР. М., 1928. Вып. 9. С. 91.
14. *Жиромская В.Б.* Указ. соч. С. 127.; Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г.
15. Там же. С. 120.
16. ЦАФСБ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 816. Л. 1-6.
17. ЦАФСБ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 816. Л. 1-6.
18. Моя жизнь (воспоминания Михеева Михаила Васильевича). Публикация Р.Ю. Просветова //Традиции и современность. 2008. № 8. С. 157-176.
19. Моя жизнь (воспоминания Михеева Михаила Васильевича). С. 170.
20. Там же. С. 174.
21. На разломе жизни. Дневник Ивана Глотова. 1915-1931 годы. М.: ИЭА РАН, 1997. Публ. подготовили М.И. Мильчик, М.А. Шумар.
22. Там же. С. 24.
23. Там же. 24-25.
24. *Вдовин А.И.* СССР. История великой державы. 1922-1991. М.: «Проспект», 2019. С. 158.
25. Там же. С. 159.
26. Там же. С. 159.
27. *Протоиерей Валентин Бирюков.* Непридуманные рассказы. «На земле мы только учимся жить». М.: «Даниловский благовестник», 2004. С. 11-12.
28. Там же. С. 13.
29. Там же. С. 20.
30. С крестом и Евангелием. Книга об одном удивительном монастыре и его старцах. Задонский Рождества Богородицы мужской монастырь, 2011. С. 24-30.
31. Там же. С. 290.
32. Судьбы нищего дворянства, в лице его представителей - женщин и детей - описаны в многих сохранившихся мемуарах представителей этого сословия о советской эпохе: *Урусова Н.В., княгиня.* Материнский плач Святой Руси. Издательский Дом Русский паломник. Балаамское Общество Америки. М., 2007; Записки князя Кирилла Николаевича Голицына. М., 1997; Россия воспрянет. Князья Трубецкие. М.: Воениздат, 1996.

33. *Пришвин М.М.* Дневники. М.: Правда, 1990. С. 165.
34. Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. Документы и материалы/ Под ред. А. Береловича, В. Данилова. В 4-х томах. М. 1998-2004. Т. 3. С. 566-567.
35. Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. С. 41.
36. *Пришвин М.М.* Дневники. 1932-1935. СПб.: Росток, 2009. С. 200.
37. *Кондратьев Ф.В.* Судьбы инвалидов Великой Отечественной войны. Свидетельства очевидца // интернет-портал «Русская народная линия». Материал от 11.09. 2019 г.
38. Беседа с Сурайкиной М.Ф. Экспедиция ИЭА РАН 2000 г. Архив Кириченко О.В.
39. *Олейникова Т. С.* Путь православной женщины. От первых пятилеток до наших дней. М.: Благо, 2004. С. 29-31.
40. Рассказ монахини Сергии (Чернышевой). 2000 г. Архив О.В. Кириченко.
41. Беседа с Гребенкиной В.В. Экспедиция ИЭА РАН 2003 г. Архив Н.В. Шляhtiной.
42. Государственный архив Курской области (далее - ГАКО). Оп. 2. Д. 12. Л. 104.
43. ГАКО. Оп. 5. Д. 13. Л. 117-118.
44. ГАКО. Р-5027. Оп. 5. Д. 10. Л. 49.
45. Беседа с Лычагиной Р.В. Экспедиция ИЭА РАН в Воронежскую обл. 2000 г. Архив О.В. Кириченко.
46. Беседа с протоиереем Николаем Серовым. Экспедиция ИЭА РАН в Воронежскую обл. 2000 г. Архив О.В. Кириченко.
47. Беседа с Секириной Анастасией Алексеевной. Экспедиция ИЭА РАН 2002. Архив Н.В. Шляhtiной.
48. Российский государственный архив новейшей истории. Ф. 5. Оп. 30. Д. 78. Л. 41-46.
49. *Зубкова Е.Н.* Указ. соч. С. 296.

